

Литератор

Мне кажется, что я литератор.

Впрочем, столь давно мне это стало казаться, что я уже и не помню, когда ощущал себя кем-либо иным...

Никто не догадывается об этом. Быть может, я — единственный, кому это известно. Иногда я спрашиваю себя, почему же я до сих пор так и не написал ни одной книги. На этот вопрос у меня нет ответа. Тем не менее я уверен, что сочинительство — мое призвание.

Я не знаю, как выглядят настоящие писатели, в своей жизни я не встречал ни одного из них. Будучи в полном неведении относительно должного внешнего вида, я растолстел и производил весьма упитанное впечатление. Но вскоре я услышал обрывок разговора двух прохожих, один из которых, обсуждая какого-то литератора, заметил, что тот очень худ и выглядит совершенно изможденным. Мне стало не по себе: я был настолько полнотел, что, видимо, никому из моих будущих читателей и в голову бы не пришло, что я их писатель.

Я начал страшно худеть. Это происходило без каких-либо усилий с моей стороны, просто, само собой. Вскоре я стал так тонок, что некоторые знакомые, принимая меня, видимо, за кого-то другого, перестали раскланиваться со мной.

По случаю в антикварной лавке купил я большой старинный письменный стол. Ну и, конечно, пришлось купить и хорошее кресло, не писать же сидя на неудобном стуле. Ну вот наконец комната моя стала похожа на прибежище литератора. Зайдя в городскую

библиотеку, чтобы взглянуть на портреты других писателей, я был поражен: сколько же книг уже написали они до меня! Немедленно нужно было приступить к работе.

Но в родительском доме сделать это было практически невозможно. Моя семья, давно разорившись, умудрилась свить себе уютное гнездышко под Триестом. И там мои многочисленные девственные и вдовы сестры с утра до вечера перемалывали кости моей матушке, отцу и несчастному брату. Отец, в свою очередь, еще мнил себя помощником заместителя бургомистра. Матушка под утро шастала по спальням сестриц, выслеживая незваных гостей. А брат из несчастного мальчика, попавшего под колеса, калеки и любимца семьи, неспешно превращался в угрюмого инвалида, для которого не было большего удовольствия, как подстеречь ночью подвыпившего кавалера, шатко выползающего из окна матушки, ударить по нему костылем и, подняв крик, разбудить отца.

За много миль от них я и сейчас слишком хорошо представляю себе эту картину. Отец, как старый упрямый конь, давно вышвырнутый в угол конюшни, всхрапывает, услышав стон боевой трубы, хватает свой линялый сюртук, бряцающий нелепыми наградами, ногой выпихивает с кровати нашу старуху няньку и, гордо выпятив челюсть, торжественно кряхтя, вышагивает по саду. В саду уже все семейство. Брат луженой своей глоткой выпаливает ужасную весть. Матушка, бесконечно оправляющая и без того длинную ночную сорочку, вскрикивает. Сестрицы визгливо хохочут и по очереди на цыпочках заглядывают в окно матушкиной спальни. Через некоторое время все расходятся. Отец, пребывая еще в некотором негодовании, не подпускает няньку к кровати, и та засыпает на коврике, свернувшись у его ног.

Впрочем, наутро вся семья в сборе: неспешно выходя из своих комнат, все чинно рассаживаются

в гостиной за утренней трапезой, за опоздание к которой в детстве следовала торжественная порка.

Писать что-либо в такой обстановке было совершенно немыслимо. К тому же именно в это время моя сожительница удрала с местным провизором, через неделю прислав мне картонную коробку с целым ворохом своего белья. Я развесил белье по своей комнате, и так оно провисело месяц, покрываясь пылью, пока не исчезло однажды, выкраденное моей завистливой матушкой. Проходя вечером по коридору, я заметил через приоткрытую дверь, как при тусклом свете мигающей лампочки моя матушка напяливала на свою длинную отвисшую грудь необъятный бюстгальтер, выкраденный из моей комнаты. Она вдыхала запах чужого белья, облизывала дряблые губы и, кое-как нервными руками приладив бюстгальтер у себя за спиной, пыталась разглядеть в давно не мытом зеркале нечто, что давно исчезло и было забыто всеми, кроме нее.

Еще через месяц любовница прислала мне цветную открытку, где была запечатлена среди обнаженных подруг и усатого мужчины с английской трубкой.

Это явилось последней каплей, переполнившей чашу моего терпения. Я понял, что, если пробуду в родительском доме еще хотя бы несколько дней, слушая взвизги родственников и получая очередное послание от бывшей любви, — я никогда не создам свою книгу.

Я бросил все и сел в первый попавшийся поезд, забыв поинтересоваться конечным пунктом его назначения. Железные дороги за те несколько лет, что я не пользовался ими, растянули свои щупальца на невероятные расстояния. Я сидел в спальном вагоне, закрыв глаза и не желая знать, что делается за окном. Вдруг почему-то мне вспомнилась история, свидетелем которой я был, пока недолгое время пытался пройти курс в университете.

Речь профессора

Несколько лекций читал у нас известный профессор. Он был немолод. Его грузное тело, казалось, мешало ему. Каждый раз он неуклюже вскарабкивался на кафедру, теряя при этом неизменную папку с тезисами своей будущей бурной речи. Он опрокидывал выставленный заботливым служителем графин с содовой, цеплялся манжетами брюк за угол деревянной подставки и, чертыхаясь, проклинал свет.

Профессор имел дурную привычку забывать о своей аудитории, внимающей каждому его слову. Он принимался рассуждать сам с собой, вслух, обсуждая свою жизнь, своих недругов и приверженцев и ругая созданную им школу. Но именно эти шокирующие откровения делали его лекции популярными. Весь университет сбегался послушать их. В конце концов, решили мы, профессору, видимо, безразлично, что подумает о нем научная общественность и все остальное человечество: он настолько устал от собственной славы, что может позволить себе высказать наконец то, что является для него единственно ценным.

Итак, набившись, как всегда, в аудиторию до такой степени, что протиснуться в дверь уже не было никакой возможности, мы ждали очередной сенсации. Профессор не должен был обмануть наших ожиданий. Трюки, которые он выделывал, неожиданности, что подстерегали нас на его выступлениях, никогда нельзя было предугадать. Он был непредсказуем. И за это его любили студенты и терпеть не могли коллеги. Университет ждал.

Кряхтя, профессор забрался на кафедру. На этот раз графин с содовой устоял. По привычке профессор открыл папку и вновь захлопнул ее. Вытащил круглые свои очки, швырнул их на кафедру. Одно из стекол треснуло.

«Началось!» — подумали мы и затаили дыхание. Но он даже не заметил треснувшего стекла. Да и вообще тут же забыл об очках. Он оглядел нас дальнорезкими налитыми глазами и навалился грузным телом на кафедру.

— Как и все настоящие анархисты, мы стремимся разрушить давно устоявшиеся традиции, преграды, ограничения. У русских даже есть такой марш — «Нам нет преград». Все мы мечтаем о хаосе, свободном падении и анархии. Но! Мы только мечтаем. Потому что чувствуем, что хаос приведет нас к уничтожению. А смерти, как известно, мы боимся более всего. Это так. Да!

Неожиданно он застыл, глядя в пространство.

— Рождаясь, мы выходим из небытия и краткий срок, отмеренный нам до возвращения в это ничто, надеемся растянуть. Продлить его. И страх внезапной и скорой смерти витает над нами. Потому-то мы и никудашные анархисты. Ведь анархия — это смерть. Но анархия — это и единственная форма истинной жизни. Только родившись, мы уже попадаем в этот отвратительный парадокс. Страшно умереть, но не менее страшно и жить. Потому что только сама эта проклятая жизнь и подбрасывает нам повод для смерти.

Ну, — вдруг резко вскинув голову, он оглядел аудиторию, — не так все печально, мои высоколобые слушатели, как может вам показаться. Человечество давно изобрело один старый трюк. Один маленький фокус, чтобы вырваться из опостылевшего парадокса. Оно убивает в себе анархиста. Оно трусит и умирает от ужаса, как и мы с вами. И инстинкт самосохранения или боязнь неведомого, можете назвать это как угодно, якобы спасает нас, подкидывая иллюзию. Этот самообман заключается в простой вещи. Нам кажется, что если мы из года в год, изо дня в день повторяем одни и те же действия: в положенный час встаем, молимся, идем на службу, читаем газету и следуем раз и навсегда заведенному распорядку, то тем самым мы

как бы отдаляем от себя то неизвестное, пугающее, что грозит нам ежеминутно.

Мы подобны шаманам, заклинающим и отпугивающим злых духов. Духи не уходят, но страх, глубокий наш страх на мгновение отступает. Фокус, трюк, придуманный человечеством, носит имя — регламентация. Регламентатор, этот выдуманный нами спаситель, убивает отчаянного анархиста. Так мы пестуем традиции. Традиция — базис регламента. Английский королевский двор лишь слабое подобие ритуальной жизни японского общества. Жизнь праведного еврея заключена в соблюдении шестисот тринадцати заповедей. Ограничения, которые мы накладываем на себя, кажутся нам спасением. Мы прикрываемся ими, как щитом, чтобы забыть истину, которая сверлит наш мозг неустанно. Это небольшой трюк, слышите? — Профессор повысил голос. — Совсем маленький фокус! — закричал он вдруг. — Но как сладка и надежна иллюзия, пока веришь в нее. И как беззащитен любой из нас, когда собственные мозги разрушают ее, разоблачая, и не оставляют от нее камня на камне.

Профессор взмахнул рукой, и графин с содовой грохнулся об пол, оглушительно лопнув. Профессор замер. Потом неуклюже развернулся, как будто собравшись слезть с кафедры. И, вдруг повернувшись к нам вполоборота, медленно явственно произнес:

— Страх господствует в нашей жизни. Задумайтесь на досуге. Только он заставляет нас жить. Совершать открытия, деяния, подвиги, суетиться. Все наши свершения в действительности имеют только одну истинную глубинную цель — заглушить этот рвущийся из нас ужас. Но только тот, кто имеет собственные мозги, способен ощутить это.

Он сполз с кафедры. Прошел несколько шагов по направлению к двери. Потом вдруг вернулся.

— Кстати, — тихим голосом сказал он. — Когда кто-то из васбрякнет: «Ночные страхи терзают

меня» — не верьте, это звучит смешно. Неужели ночи страшнее дня, а чудовища из кошмаров ужаснее нас самих? Нас, ослепленных, содрогающихся от страха?.. Только мы сами приходим к себе по ночам. Не вы, мои слушатели и дорогие коллеги, не вы — мой кошмар. Мой кошмар — я.

Он неожиданно замолчал. Потом засуетился, словно ища что-то в карманах. Но вот взгляд его упал на папку, валявшуюся на кафедре. Он медленно вытащил из нее листы тезисов своей речи, смял их в бумажный ком и неудачным броском кинул его, не попав в плетеную урну. Листы на полу развернулись, и впервые увидели мы, что они — чисты. Он вынул расческу. Тщательно причесал лысеющую свою шевелюру. Спрятал расческу в карман. Поклонился обескураженной аудитории и вышел из лекционного зала, оставив распахнутой дверь.

Часть из нас, недоуменно переглядываясь, потащила за ним. Профессор, выйдя в коридор, дошел до широкой лестницы, отделанной мрамором. Оперся обеими руками на старинные, инкрустированные тонкой серебряной нитью перила, являющиеся гордостью университета. Оглянулся на толпу, вывалившую за ним из аудитории. В глазах его что-то мелькнуло, и, легко перекинув свое грузное тело через знаменитые перила, он взлетел на мгновение в свободном парении, чтобы через секунду исчезнуть, стремительно ввинчиваясь в проем широких лестниц.

После шока, который охватил всех нас, самые быстрые, перепрыгивая через ступеньки, стремглав бросились по лестнице вниз. На первом этаже все было тихо. Никто не слышал шума падения. За окнами университета шел медленный снег. Беззвучно шевеля губами, привратник читал «Унесенные ветром».

Тела профессора мы не нашли.

Почему я вдруг вспомнил эту историю? Быть может, и мне на мгновение захотелось исчезнуть... На всякий

случай я оглядел себя: нет, все в порядке — я по-прежнему существовал.

В конце концов поезд, в котором я находился, пересек несколько государственных границ и, видимо, собирался продолжить свой путь по континенту. Но я, уже насытившись прелестями железнодорожного путешествия, выскочил из него на случайной станции. Так невольно я попал в этот город. Признаться, еще несколько дней назад я даже не подозревал о его существовании.

Вокзал городка напоминал вокзал в Дюссельдорфе, а аккуратные домики и вылизанные мостовые возвращали меня обратно в пригороды Триеста. Но я постарался прогнать от себя неприятные воспоминания и шевельнувшиеся было во мне предчувствия.

Городок оказался маленьким и столь тихим, что поначалу закрадывалось сомнение — не вымерли ли случайно к моему приезду все его жители. Но подозрения мои были довольно быстро рассеяны выходящими из домов людьми. Население города выглядело из окошек и высыпало на улицы в таких количествах, что через полчаса у меня сложилось обратное впечатление — жители несколько перенаселили город. Обилие выскакивающих на улицу людей наводило на мысль о каком-то неизвестном мне празднике, отмечать который готовились обыватели.

Впрочем, объяснение городскому волнению оказалось простым. Последний раз в этот город незнакомец приезжал полгода назад — и то оказался психически больным, сбежавшим из сумасшедшего дома столицы соседней державы. Поэтому мое появление, безусловно, явилось событием для этого тихого сонного городка. И хотя жители его встретили меня весьма радушно, все же я заметил, что держались они несколько напряженно, словно памятуя о своем последнем неудачном опыте общения с иностранцами. Впервые в жизни

я стал героем дня. Я начал подумывать о том, чтобы продлить свое пребывание здесь на неопределенный период. Мне пришло в голову, что, быть может, это именно то место, где я могу создать свою книгу.

Жители города на выбор предложили мне несколько квартир, причем арендную плату за них решили внести сообща, чем несказанно удивили и обрадовали меня. Вообще город произвел на меня благоприятное впечатление.

При этом я не заметил в нем ничего заслуживающего особого внимания. Мне даже показалось, что здесь нет какой-либо формы самоуправления. Отсутствовал муниципалитет, мэр и даже некоторые необходимые городу службы. Как при этом город функционировал и тихо, радостно жил, было для меня загадкой. Единственным развлечением горожан, как мне тоже тогда показалось, был кабачок, одиноко стоящий посреди крохотной центральной площади.

В кабачке собирались первые умы города, ели чолнт и несли всяческий вздор.

Мне было хорошо в этом городе — никто не мешал мне сочинять. Никто не мешал... Но мне решительно не писалось.

Через неделю я начал понимать, что сойду с ума от тоски. Заняться было абсолютно нечем, сочинять я не мог, а лежать целыми днями на кровати я уже был не в силах.

В кабачке в этот день я в очередной раз выслушал пару сентенций о том, как настаивать самую лучшую в мире наливку. Я никогда не делал наливку и не думаю, что мне удалось бы это, несмотря на уверения завсегдатаев кабачка, что дело это простое, но требует тщательности и таланта, то есть именно тех качеств, которыми я, по их мнению, безусловно, наделен... Далее, как всегда, начинались бесконечные споры о том, сколько дней надо выдерживать эту чертову наливку и почему одним из них это всегда удается, а другим

не удастся никогда, и почему одни из них глупы как пробки, а другие невероятно умны, и что кое-кто еще помнит то время, когда дед одного из них, отстаивая вкус своего напитка, ударил башмаком по голове деда другого из них и оказался прав, потому что наливка последнего была совершенно безвкусна, а наливка первого обладала таким невероятным ароматом, что...

Надо заметить, эти диспуты не отличались разнообразием. Да, и у самих рассказчиков, думаю, не хватило бы фантазии придумывать каждый раз что-нибудь новенькое. Именно поэтому одни и те же истории повторялись день за днем, а иногда, при особом вдохновении рассказчика, и по несколько раз в день. Через неделю я знал их наизусть, а вновь выслушивать эти споры я уже не мог и обычно к этому времени высккивал из кабака.

Энциклопедия

Выйдя в тот день на улицу, я не успел опомниться, как чья-то большая кудлатая голова со всего размаху ткнулась мне в живот. Я вскрикнул от неожиданности и боли. После чего раздались многочисленные извинения и оказалось, что маленькая и очень грудастая госпожа Финк, проходя мимо меня, «оступилась, потеряла равновесие и мы вместе чуть не попадали с ног». Произнося все это, г-жа Финк, как мне показалось, несколько преувеличенно волновалась, подмигивала, краснела, время от времени пытаюсь одновременно поправить лиф и потерять ушибленный лоб. Она явно была смущена.

В конце концов мне надоело и ее смущение, и ее жеманство? и я спросил, а нет ли в этом городе чего-нибудь примечательного, например какого-нибудь музея. Тут г-жа Финк зарделась, словно я сказал какую-то двусмысленность, неожиданно подмигнула

и защебетала: «Конечно, обязательно, как же не быть, есть, есть, обязательно есть!» Она взмахнула руками, засуетилась, тут подбежали два ее головастых подстриженных ежиком сына, которых она немедленно куда-то услала и с причитанием «Сейчас, сейчас» пребольно ухватила меня за руку, подозревая, видимо, что я могу внезапно исчезнуть. Вдруг, завидя кого-то в начале улицы, она закричала: «Идет, идет!»

Большими шагами ко мне почти бежал какой-то господин, нахлобучивая по дороге маленький, не по размеру, котелок на свой вытянутый череп. Позади рысью трусили два стриженных сына г-жи Финк, едва поспевая за ним. На ходу он жестикулировал, распахиная костлявые руки с растопыренными пальцами, как будто пытался еще издали заключить меня ими в объятия. Это был длинный и тощий, похожий на гвоздь господин Фромбрюк, как я узнал позже — молочник, а по совместительству экскурсовод местного музея.

Наконец он остановился как вкопанный, одной рукой стащил с головы котелок, второй схватил меня за руку и долго тряс ее, рассказывая, как он рад, что ему наконец представилась возможность показать кому-то их музей, которым они так гордятся и который, без сомнения, является главной достопримечательностью их города, которых в действительности, тут он, конфузясь, хихикнул, не так уж и много, а по существу, в этом месте даже краска залила его лошадиную физиономию, всего-то одна — это их музей. Все это он выговорил скороговоркой, вытащил из кармана здоровенный ключ и попытался засунуть его в замочную скважину близлежащей двери. Судя по его бормотанию и неловким движениям, нечасто ему приходилось это делать. Ключ никоим образом не хотел поворачиваться. Замочная скважина была покрыта пылью и изрядно проржавела. Видимо, музей давно не раскрывал никому своих радушных объятий. Наконец ключ повернулся. Молочник, от избытка чувств почти перегнувшись

пополам, распахнул дверь настежь и широким жестом пригласил меня войти.

Передо мной открылась пустая комната со свернутым посередине ее ковром. Я огляделся. В комнате не было более ничего. Господин Фромбрюк забежал вокруг, взмахивая длинными своими руками и время от времени заглядывая мне в лицо, видимо, пытаюсь найти на нем следы восхищения. Я еще раз оглядел комнату. В ней ничего не было. Ни на стенах, ни на полу. На ковре был приколот пыльный старый листок, вырванный, наверное, из школьной тетрадки. Приглядевшись, я заметил какое-то слово, выведенное на нем корявыми буквами. И хотя буквы были неумело начерканы детской рукой, я все-таки смог разобрать написанное слово «Энциклопедия». Под ним была выведена первая буква алфавита «алеф». Заметив мои усилия, экскурсовод просиял от счастья. «Видите, видите? — своей скороговоркой забормотал он, сделал паузу и гордо сказал: — Это он написал, еще будучи ребенком!»

— Что? — переспросил я.

Тут г-жа Финк, подталкивая меня большой грудью к коврику и обращаясь к экскурсоводу, зашебетала:

— Господи, да он же ничего не знает!

Тогда молочник большим негнущимся пальцем стал тыкать в ковер, а г-жа Финк заверещала:

— Там, там, наш г-н Дворк!

Я ничего не понял, но, судя по общему возбуждению и поминутному заглядыванию с улицы головастых братьев, сообразил, что в свернутом ковре, видимо, и заключена вся суть этой странной достопримечательности. Наконец всеобщее волнение некоторым образом улеглось и, гоголем расхаживая по комнате, г-н Фромбрюк начал вещать:

— В запасниках нашего музея хранится картина неизвестного художника, на которой великолепно изображен г-н Дворк, еще в детстве задумавший написать энциклопедию.

Мне показалось, что молочник выучил свой монолог наизусть.

— Все мы друзья и знакомые г-на Дворка, — продолжил он, — в выходные дни занимались какими-нибудь полезными вещами: играли в поддавки, мыли грязных детей, прогуливались.

Тут г-жа Финк не удержалась и взвизгнула:

— И только он, он, один наш г-н Дворк сочинял энциклопедию!

Молочник буквально подскочил на месте и так яростно взглянул на нее, что г-жа Финк от страха схватила себя за грудь, спасая, видимо, самое ценное, и опрометью бросилась в угол комнаты, откуда, присев на корточки, искоса и, как мне показалось, несколько призывно, стала поглядывать на меня.

Возмущенный ее поведением Фромбрюк тяжело перевел дыхание, встал в позу и продолжил.

— Нельзя сказать, — произнес он глубокомысленно, — чтобы поначалу сочинение продвигалось успешно. Г-на Дворка все время отвлекали какие-то пустяки. Стоило ему только занести «паркер» над листом, как тут же в каком-либо углу комнаты раздавалось шуршание. Шорох, скрипение и разная дрянь раздавались из всех углов. Но наш г-н Дворк не намерен был отступать.

— Ни за что! — не удержалась Финк, быстро подмигнув мне.

Экскурсовод проигнорировал ее выпад.

— Каждый раз, — продолжал вещать он, — стоически заносил г-н Дворк руку с пером, мечтая запечатлеть на листе неисчислимое количество знаний, но проклятый шум не давал ему осуществить замысел. Как он мечтал приступить к его воплощению! Самыми противоречивыми, разнородными фактами до отказа был набит его разбухший несчастный мозг. Они теснились, шумели, сталкивались, при каждом удобном случае пытались спастись бегством, выкарабкаться наружу

и навсегда исчезнуть в потоке беспамятства! — Голос молочника звенел от возбуждения, а г-жа Финк вскочила и заплодировала. — Всех их надо было удерживать, сохранить, — с прежним пафосом декламировал Фромбрюк, — и разложить по порядку. О, как жаждал он приступить к их описанию, каждому дать оценку и с убийственной логикой расставить их по местам. И тогда благодаря его титаническому труду истина бы наконец восторжествовала.

Ведь то, что собирался создать г-н Дворк, — тут молочник откашлялся и торжественно произнес, — не было бессмысленным собранием фактов. Это была энциклопедия жизни! Раз и навсегда укомплектованная. В ней не было места случайностям, ошибкам и непредвиденному. Все знание жизни стройными рядами печатных букв должно было уложиться в ней!

От волнения голос экскурсовода сорвался, и он заходил по комнате, меряя ее большими шагами, время от времени сурово поглядывая на меня, словно именно я был причиной его остановки. Наконец, на всякий случай бросив сердитый взгляд на притаившуюся в углу Финк, он продолжил вдохновенное повествование:

— Но постоянный шум отвлекал г-на Дворка. Он не мог сосредоточиться и ухватить проклятые знания, бегущие из его памяти, словно зайцы. Вначале он не придавал этому значения, но, поняв, что сочинение его не может продвинуться, предпринял суровые меры.

— Первое, что он сделал, — нахально раздалось из угла, — это отселил от себя жену вместе с пятью их детьми!

Молочник только сглотнул и продолжил:

— В квартире стало гораздо спокойнее. Первое время г-н Дворк даже не приступал к сочинительству, а просто наслаждался неслыханной тишиной. Но времени для величественного труда все равно оставалось немного. И потому г-н Дворк принял не менее

важное решение — он покинул службу. После чего вызвал ремесленников, и они обили толстым мохнатым войлоком всю его комнату. Все шумы, исходящие от соседей, улицы и крикливых детей, наконец исчезли. Но что-то не давало покоя...

На цыпочках, незаметно для витийствующего Фромбрюка, пробравшись на середину комнаты, маленькая г-жа Финк вдруг неожиданно топнула каблучком, выпятила грудь и всем своим видом продемонстрировала, что готова отбить любую атаку.

Молочник прервался на полуслове, горестно вздохнул и вдруг неожиданно сдался. Он отошел в угол, который до этого занимала Финк, скрестил руки на груди и уперся лбом в стену. Что означала эта поза — глубокое ли раздумье или признание собственного поражения — мне было неизвестно.

Расхаживая мелкими шажками посреди комнаты и торжествуя, г-жа Финк продолжила рассказ:

— Итак, несмотря на все усилия, что-то все равно мешало нашему Дворку и не давало с головой погрузиться в работу. Так вот, я вам скажу: слишком много мебели было в его квартире. Эти дубовые шкафы, расставленные по всем углам, кресла, на которые он наткался во время раздумий, стулья, мешающиеся под ногами. Он немедленно разыскал старьевщика, и тот в полчаса вынес из квартиры всю эту старинную скрипучую рухлядь. Тогда он запер дверь, выбросил ключ в уборную и сел за стол. Он занес золотой «паркер». «Алеф», — вывел г-н Дворк... И тут понял, что ничего более написать не может!

— Эта истина внезапно открылась ему! — со слезами в голосе закричал из угла Фромбрюк.

— Да, да, — подавив рыдания, подтвердила г-жа Финк, — его «паркер» дрожал. И можете себе представить — мертвая тишина стояла в квартире. Думаю, он встал и застегнул сюртук. А потом вцепился в войлок и содрал его со стены.

— О да! — патетически закричал из угла молочник и, встав в позу, продекламировал: — Он расстелил его на полу, лег в середину и, словно куколка неведомой бабочки, завернулся в тяжелый саван. С трудом выпростал руку и приколот к войлоку свой детский листок.

— Так гласит наше предание. — Г-жа Финк утерла слезы платком. — Через неделю, — продолжила она, — жена, пятеро детей и соседи вскрыли дверь г-на Дворка. Большая куколка лежала в центре квартиры. По просьбе семьи и требованиям соседей мы поместили тело в музей. Вот, — показала она на ковер. Слезы душили ее. — Экспонат занял центральное место. Вначале по периметру он был обнесен бархатным шнуром, и мои дети всякий раз протирали его такой маленькой пушистой щеточкой, которая хранилась у нас дома справа от двери. — Тут г-жа Финк зарыдала в голос: — Но щеточка куда-то запропастилась, а со временем пропал и бархатный шнур!

— Все мы, все мы, — в отчаянии из своего угла кричал молочник, — каждый выходной совершали поход в музей. Посещение его полезно нашим детям!

— Надолго задумываются они о том, — прорыдала Финк, — сколько труда надо вложить, чтобы жизнь твоя не была бесцельна!

— Ах, — выскочив из угла и простирая ко мне свои длинные руки, крикнул Фромбрюк, — мы уже так привыкли к новому местопребыванию господина Дворка, что вскоре наши визиты сюда совсем прекратились!

— Но мы все, слышите, мы все, — с криком бросилась мне на шею г-жа Финк, — с любовью вспоминаем нашего кумира!

— Вот так завернутый в свою куколку, — и с этими словами молочник тоже обнял меня и прижался большой головой к моему плечу, — он покоится здесь... И мы, приходя к нему, гордимся, гордимся...

На последних словах взволнованная г-жа Финк с таким рвением стала тереться об меня своей грудью, что

я невольно попытался несколько отстраниться от нее, но вспотевший от переживаний г-н Фромбрюк так навалился на меня с другой стороны и столь обильно заливал слезами мою шею, что я вынужден был застыть в этой неловкой позе. Я не знал, как вести себя в подобной ситуации. Фромбрюк наваливался все сильнее, все теснее прижималась г-жа Финк. Я почувствовал, что стоит им только еще чуть крепче прильнуть ко мне, как в какой-то момент тела их, наверное, смогут сомкнуться, пройдя сквозь меня. Я, изловчившись, все-таки вынырнул из тесного плена. Они повернули ко мне заплаканные свои физиономии, и столько скорби было в глазах г-на Фромбрюка и такая печаль застыла на лице г-жи Финк, что я и сам на миг пожалел, что отверг их объятия. Впрочем, здравый смысл восторжествовал, я распахнул музейную дверь и выбрался наружу, оставив моих проводников наедине с их переживаниями.

Я возвращался к себе в мансарду и думал: «Как, оказывается, чувствительны жители города... И почему, интересно, почему этот г-н Дворк так ничего и не написал, кроме одной буквы?.. Неужели и мою книгу ждет судьба его энциклопедии? — пришло мне вдруг в голову. — Неужели я, как и он, обречен, ничего не создав, превратиться в куколку и быть заживо похороненным в какой-нибудь заброшенной кладовке с гордым названием „Музей“?»

Быть может, мне не писалось из-за предчувствия такой ужасной судьбы? Ведь мы с этим Дворком похожи: и меня раздражает малейший шум, и я ищу место, где бы закрыться и начать сочинять...

Я никак не мог успокоиться! Злосчастная эта история мешала сосредоточиться и навевала ужасную тоску. Моя книга переваливалась у меня в голове, словно заблудившийся носорог. И огромная эта бесформенная туша, напоминавшая свалку случайных мыслей, обрывков фраз, чужих афоризмов и собственных бессильных

проклятий, разрывала мою голову изнутри, как только я приступал к сочинению. Очередной раз я решил сбежать от нее и вышел на улицу, с тихой надеждой, что прогулка развеет отчаяние и на моей могиле не напишут «умер от меланхолии».

Архив

Я понял, что необходимо вытащить себя из засасывающей этого тоски и хотя бы поесть, — я отправился в кабачок, потому что отправиться больше было некуда. С трудом поедая уже ненавистный мне чолнт, надеясь отвлечься, я спросил у соседа, нет ли в городе какой-нибудь заваливающей книжной лавки или, на худой конец, библиотеки.

Внезапно в кабачке настала тишина. Все головы повернулись ко мне, как будто мой вопрос был чем-то из ряда вон выходящим. Гробовое это молчание крайне удивило меня, мне показалось, что меня просто не поняли. Только хотел я повторить свой вопрос, как столяр Польман, упитанный человек с толстой волосятой шеей, неожиданно ответил: «Есть». После чего надел свою шляпу и, оглядываясь, словно я собирался пуститься за ним в погоню, быстро вышел из кабачка. Мне стало не по себе. «А где расположена ваша... библиотека?» — спросил я неестественно громко, не обращая ни к кому персонально. Я поймал на себе долгий испытующий взгляд кабачника. Потом он неожиданно поднял руку и ткнул ею в противоположную сторону площади. «Там», — сказал он.

Просидев еще немного при полном общем молчании и почувствовав себя крайне неловко, я вышел из кабачка и направился на противоположную сторону площади. Настроение становилось все хуже и хуже. Обернувшись, я увидел прижавшиеся к окнам лица за-всегдаев. «Что за странные люди», — успел подумать

я и буквально уткнулся в дверь так называемой библиотеки. Вход в нее был скорее похож на вход в погреб. Над скрипучей ветхой дверью кривыми буквами почему-то было выведено «Архив». Я шагнул внутрь и остановился, пораженный.

Ряды стеллажей, заваленные старыми книгами, бесконечными дорогами стояли передо мной. Я никогда не видел ничего подобного. На миг мне вдруг показалось, что я мог бы глядеть в эту даль бесконечно... Что там впереди? Только новые стеллажи. Вот так отправиться в путь и идти вдоль неведомых полок, пока хватит сил, а потом упасть рядом с этими книгами и быть засыпанным древней пылью. Я закрыл глаза.

Сбоку кто-то вздохнул. Я повернулся. Передо мной на ободранном табурете сидел маленький человек с опухшими синими веками. На его худой шее мертвой селедкой болтался когда-то кремовый галстук. Я узнал его. Это был г-н Гройс. Несколько раз он своей шуршащей походкой перебежал передо мной улицу, видимо, поспешая на службу.

Сейчас он сидел неподвижно и вглядывался в глубь стеллажей. Неожиданно мне пришло в голову, что, быть может, мы могли бы с ним подружиться и вместе не отрываясь смотреть туда. Вдруг, словно прочитав мои мысли, г-н Гройс повернул ко мне свою птичью голову и спросил: «Зачем?..» Голос его был таким сдавленным и скрипучим, что, наверное, так могла бы заговорить галка, если бы захотела побеседовать с человеком. Я был уверен, что он обратился ко мне, хотя взор его уперся в мой ботинок, который, по всей видимости, он и избрал в свои собеседники. Не отрывая от туфли остановившегося взгляда, он открыл рот, словно желая заглотить как можно больше воздуха, и замер. Потом вдруг повернулся к стеллажам, вытянул шею и рассказал мне короткую историю своей жизни.

Он никогда не доходил до конца архива. Да и зачем?.. Каждое утро он бредет, ковыляя, вдоль этих

бесконечных полок, заставленных древними фолиантами. Останавливается, заметив на старом нечищеном полу расплывшееся масляное пятно. Бог знает, кто и когда оставил здесь свой масляный след. Упорно г-н Гройс трет лопнувшем башмаком въевшееся в паркетины масло. Эту операцию проделывает он каждый раз, но пятно не исчезает. Оно принадлежит архиву, как и сам г-н Гройс. Немыслимо представить себе эти ряды пыльных книг, скрипящих полок и ветхого мусора без его ковыляющей шуршащей походки.

Он убежден, что архив не может существовать без него и дня. Ему кажется, что не приди он на службу хоть раз, как тьмы суетливых прожорливых негодяев ворвутся в архив и сухими шустрými пальцами сотрут с книг их древнюю пыль. Потом жадно расхватывают их и начнут вчитываться, всматриваться, ввинчиваться ненасытными своими глазами в существо фолиантов. И несчастные рукописи беззащитно распахнут перед ними свои страницы. Неистовые эти фанатики поспешно заглотят содержимое инкунабул и, отбросив уже ограбленные, примутся за другие. Нависнув стервятниками, беспощадно растерзают они нежное тело книг.

С тоской думает г-н Гройс: «Что могут дать им пожелтевшие эти страницы с шеренгами черных строк? Зачем хотят они навалиться тяжелой неуголимой своей страстью и выгрызть содержание манускриптов? Зачем знать им, что написано в этих книгах? И что делать им со знанием этим?..»

По ночам г-н Гройс иногда укладывается на коврик на крыльце архива, увязывает из тонкой суровой нити петлю, свободный ее конец закрепляет на ручке архивной двери, а в кольцо аккуратно продевает худую, галочью шею. Он боится, что не сумеет проснуться, когда пожиратели книг, эти чтецы, со свойственной им изворотливостью вскроют старинный замок и потянут дверь на себя. Он страшится, что не проснет, ибо ночные кошмары, стоит только ему сомкнуть